

В.В. Розанов
Н.Я. Данилевский

По изданию: Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. Рубрика: поздние фазы славянофильства. Том 7. Москва, 1996 г.

Впервые опубликовано в газете «Новое Время» № 6811, 1895 г. под названием «Поздние фазы славянофильства» в качестве рецензии на книгу Н.Я. Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому».

«Россия и Европа». Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 5. СПб., 1895.

Труд, не имевший при жизни автора никакого почти успеха, вышел ныне уже пятым изданием. Не будет излишне смелым, если мы скажем, что книга эта становится настольною для всех высоких кругов русского образованного общества; еще не вся учившаяся Россия ее знает; но, кажется, можно предположить, что ее знает вся Россия размышляющая, колеблющаяся, ищущая истины среди моря мыслей, частью туземно вырастающих, частью навеянных к нам с Запада.

Конечно, всякий, кто причисляет себя к сторонникам славянофильской мысли, может только радоваться при виде этого широкого успеха, какой выпал на долю хотя одной книги, выражающей им чтимую доктрину. Но он не скроет от себя и должен сделать усилие, чтобы разъяснить обществу, что в этой столь читаемой книге выражена еще не вся доктрина и даже не самая ее ценная часть.

I

Теория культурно-исторических типов, предложенная Н.Я. Данилевским, вовсе не есть завершение славянофильской теории, не есть ее высшая фаза, как это утверждают почти все ее критики и последователи. Гораздо правильнее ее можно определить как скорлупу, которая

замкнула в себя нежное и хрупкое содержание, выработанное первыми славянофилами и после никем не поправленное, никем не разрешенное. В их трудах, так мало систематических, что их можно принять за черновые наброски, случайно попавшие в печать, дано все то *положительное*, что и до сих пор мы находим в славянофильстве. К сожалению, труды эти совершенно не распространены, и мы боимся, не в силу ли предубеждения, что в книге Данилевского дано их завершение, ознакомившись с которым нет нужды знать предварительные и незрелые фазы доктрины.

И. Киреевский, А. Хомяков и Кон. Аксаков, между тридцатыми и пятидесятыми годами истекающего века, заложили это драгоценное, неразрушенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины. Первый в трудах своих: "Деятельный век", "Ответ А.С. Хомякову", "О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России", "О необходимости и возможности новых начал для философии", "Отрывки"¹ — проводит самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточнославянского, в частности русского. Было бы неуместно в краткой заметке перечислять эти черты; остановимся на какой-нибудь одной, чтобы указать, до какой степени его мысли многозначительны и как они верны.

"Скажи мне, как ты оцениваешь истину, и я расскажу все, что ты в себе содержишь", — мог бы каждый из нас предложить вопрос ближнему, партии, народу, наконец, целой группе народов. Этим вопросом по отношению ко всей группе романо-германских племен задался Киреевский. "Истина есть *то, что "доказано"*", — отвечает их философия, мир точных наук, догматика² их церкви, наконец, их право, их политическое сложение. Когда сеть силлогизмов нигде не прерывается, когда они исходят из наблюдения и проверены опытом — от Бэкона и до Уэвелля, от Кальвина и до Фейербаха, — ученый, пастор, ремесленник равно не усомнятся, что истина охвачена тут, внутри этих силлогизмов, опытов, этой реторты человеческого познания.

И вот мы читаем историю нового права Блюнчли: около 600 страниц, и не более 3—5 страниц на мыслителя. Какое их множество, какие великие, светлые имена... И какая грусть, какое сомнение охватывает, когда страницы бегут перед нами и с каждою новою мы входим в сеть

¹ Все его сочинения изданы, к сожалению, очень небрежно, А.И. Кошелевым в 1868 г. и с тех пор не повторялись изданием.

² Например, изменение Символа веры покоится на силлогизме: во Св. Троице Отец и Сын равны; но Дух Св., по Символу, исходит от Отца; следовательно, Он исходит и от равного Ему Сына.

нового мышления, так неуловимо подкупающую, так правильную, против которой мы так бессильны спорить. О, кажется, легче было бы покорить все народы, всем им дать один закон, — нежели это множество умов, бескорыстно ищущих истины, привести к признанию истины одной, к согласию в одном мнении. Но что это, вот уже почти невероятное: "Я в тебе ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бедняка, ни человека — я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придает моей пище вкус, и потому солю ее; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем ее; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или, на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе — животных, на тебе — людей и т.д. Ты для меня именно то, что ты есть — мой предмет, как *мой* предмет — моя *собственность*"¹.

Это — не из потаенного письма, не из потерянной записной книжки маньяка; нет, скромный ученый в 1845 году опубликовал этот взгляд на отношение человека к человеку, на нравственную нашу природу в книге "Der Einzige und sein Eigenthum"²; и книга не канула в Лету: "Ее достаточно прочитать, чтобы тотчас почувствовать себя очищенным от греха, обеспеченным от заблуждения и свободным от всякого ига; чтобы стать свободным человеком, каким был автор, быть может единственный в нашем веке", — восхищается через 47 лет не соотечественник, не друг, но недруг-чужестранец³.

И вот, если *это* — *истина* (вспомним еще философию Ницше), если как некоторое *знание* высказаны эти слова и как *знание* же приняты они бесчисленными читателями, значит, самое *мерило* ложного и истинного потеряно, самая реторта изготовления наук и философии имеет в себе какой-то изъян. Здесь, в этой реторте силлогизмов, могут возникнуть великие, светлые истины; но раз мы признаем их за таковые не *по одному* тому, что они из нее именно вышли, значит, есть *другое* какое-то средство различать добро и зло, измерять истинное, справедливое.

"Правилен ли строй душевный мыслящего существа? его силы, его способности гармонированы ли?" — вот вопрос, который мы должны предложить себе ранее, чем станем оценивать извивы мыслей, быть может болезненно направленных, как у несчастного Ницше, у восторженного Руссо и целого ряда мыслителей, столь страстных, столь бурных и вместе так странных, что они заставили наконец задуматься

¹ Макс Штирнер ум. 1855 г. в Берлине; книга его вторично была издана в 1882 г.

² "Единственный и его собственность" (*нем.*)

³ Теодор Рандаль, в "Journal des Débats", 1892 г.

над собою и поставить вопрос о родственности гения и безумия. Вопрос, который, конечно, не мог бы возникнуть при взгляде на Ньютона, Линнея, Аристотеля.

Киреевский еще не предвидел торжества многих странных учений в наше время; никто в его время не предвидел возможности школы Ломброзо. Но он — первый в Европе — сказал слова, выслушав которые мы не только понимаем эти чудовищные учения, развившиеся на наших глазах, но и видим исход из них, имеем правильную на них точку зрения. И эта точка зрения потому особенно прочна, что не принадлежит индивидуально Киреевскому, не есть плод его личных размышлений: он лишь подметил метод оценки истинного и ложного в народе нашем и еще ранее — в нашей истории, в нашей древней письменности. Всюду он усмотрел, что сплетению понятий дается лишь второе место, последующее значение, главное же внимание обращено на *целостный* дух размышляющего, его *правильное* состояние. Два указания из литературы новой яснее вскроют перед нами мысль его; во "Власти тьмы" гр. Л.Н. Толстого мы очень мало доверяем рассудительным речам матери преступника, его самого, всем тем, которые, несмотря на связность своей мысли, ходят, мы видим, "во власти тьмы". Напротив, богобоязненный отец преступника (Аким) с своим знаменитым "тае-тае", хотя не может членораздельно передать ни одной мысли, для нас светел, мы его слушаем, ему доверяем. Он, темный не только в книжном научении, но и косноязычный, почти немой, для нас разумен, есть носитель истины... *как добытой? по правилам* какой логики? Для Бэкона, для Аристотеля, для автора "Novum Organon renovatum"¹ — он есть только жалкий нищий, которому можно лишь бросить кусок хлеба. Добролюбов "В темном царстве", выясняя характер Катерины, как на особенно ценную в ней черту указывает на то, что она не рассудочно дошла до протеста против "темных сил", ее окружающих, но самую натуру, правдою сердца своего почувствовала ложь и зло этих сил. Названные писатели не имеют ничего общего в себе; и только общая народная кровь, текущая в их жилах, заставила их одинаково смотреть на истину как на продукт вовсе не мозговой деятельности, не рассудочного сплетения понятий.

II

Мы приподымаем лишь незаметный краешек в учении высоких и светлых умов, положивших основание славянофильства. Хомяков в

¹ "Новый Органон обновленный" (лат.)

трудах своих: "Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренса", 1853 г., "то же — по поводу послания парижского архиепископа", 1855 г., "то же — по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры", 1858 г., в "Письмах к Пальмеру" и, наконец, в "Опыте катехизического изложения учения о церкви"¹ — выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с двумя западными. Сущность церкви — это любовь, это — согласие; и, следовательно, естественная внешняя ее форма — *соборность*. Она сохранена на Востоке — и притом с столь великою опасливостью за ненарушимость принципа, что после отделения от себя западных церквей восточные никогда не осмелились, несмотря на крайнюю иногда в том нужду, собраться вновь на Вселенский собор; ибо вселенность предполагает в себе полноту членов, а между тем западные члены церкви не примирены с восточными. Не хочет она, не сознает возможным "собраться" непримиренно; вот уже тысячелетие жизни в изолированности она принимает как временное зло, которому исполнятся же "времена" и "сроки", и тогда церковь Христова, с членами исцеленными и овцами нерастерянными, соберется вновь "собороваться". Этому принципу — мы хотим сказать, любви и согласию — в печальную эпоху исторических смут на Востоке изменила церковь римская; вместо того чтобы пожалеть, чтобы сострадать Востоку в минуты тяжкие, она его презрела, и хоть в поводах к чувству этому, быть может, была и права, не была права в самом чувстве, и между тем им замутилась навсегда. Мы не можем даже в самых кратких чертах указать все глубокомысленное и прекрасное течение хомяковских воззрений, но он объясняет, как протестантство было лишь продолжением этого же отношения к церкви, но только уже против Рима направленное, внутри церкви западной совершившееся. Грех, не прощенный Востоку Римом, был взыскан с Рима Лютером, Цвингли, Кальвином, и гораздо позднее, уже на наших почти глазах, эти отпадения все продолжают: протестантизм кажется слишком обильным верою для "свободных мыслителей"; является тюбингенская школа богословов, сбрасывающая с себя христианство как неправильно понятый миф, является материализм, сбрасывающий с себя всякую религию, наконец, все духовное.

III

Кон. Аксаков в ряде статей, из которых особенно замечателен крити-

¹ См. сочинения А. С. Хомякова, том II, изд. под ред. Ю. Самарина.

ческий разбор "Истории России" Соловьева, появившийся по выходе VII тома этого обширного труда, — дает объединение структуры русской истории. Впервые он указал, как недостаточно сводить историю России к истории правительства в России, внешним образом и насильственно преобразующего косный народ. Начало государственное — это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая, — между тем и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у Соловьева. Воинский сан и канцелярский приказ, князь — собиратель дани, великий князь московский, дающий перевес интересам государственным над *родовыми* отношениями, наконец, император как просветитель, преобразователь, — вот постоянная тема всех предыдущих историков, разрабатывая которую они едва имели досуг бросить какой-то боковой, урванный у главной темы взгляд на стоящий в глубине сцены безмолвный, бездеятельный, безвольный народ; и невольно у читателя является вопрос, зачем, для выражения какой мысли стоит этот народ.

Начало *общинное* столь же постоянно и так же повсюдно проникает русскую историю, как *родовое* — западноевропейскую; вот главное открытие, которое делает К. Аксаков в замечательной статье своей: "О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности". Это общинное начало выразилось в *вечевом* строе Древней Руси; актом собравшегося в Новгороде веча было самое призвание князей, начало государственности: народ не безмолвствует, не стоит, не занимает только место на громадной территории Восточной Европы, но действует, мыслит, творит, как живая нравственная сила. И по призвании князей, вече сохраняется во всех городах, т.е. община продолжает жить под всеми теми внешними передвижениями, которые одни, по-видимому, наполняют историю, производят в ней шум оружия, перипетии княжеских отношений. Позднее, с объединением княжеств под Москвою, общинная жизнь городов сливается и находит для себя выражение в земских соборах: это — *земля*, призываемая на совет свободно избранным, поставленным ею над собою *государством*. Первый царь созывает первый земский собор. Ему принадлежит землею не оспариваемое, но с любовью утверждаемое право деятельности, закона, силы; земле принадлежит царем не оспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнения, суждения по совести, область духа. Государь поступает, как ему Бог указывает; земля не поперечит его *делам*; она присоединяет к ним лишь свою *думу*, свободно выраженную, которой последовать или не последовать свободен царь. Высшее начало соборности, согласия, любви отражается в этих отношениях.

Выражаясь в истории, это начало выражается повсюду и в быте

русском: достаточно упомянуть *мир*, поземельную *общину* нашу, достаточно вспомнить понятность, излюбленность *артельного* начала людям русским, чтобы признать справедливость этого.

Таковы в самых кратких чертах объяснения К. Аксакова. Около этих трех основоположников славянофильской идеи группируются меньшие и позднейшие: Петр Киреевский, Юр. Самарин, И.С. Аксаков, поэт Тютчев; чуть-чуть в стороне от них стоящий, мало понятый, мало оцененный у нас Н.П. Гиляров-Платонов. Роль всех их в славянофильстве была гораздо меньшая: они не разветвили, не усложнили, не углубили этого учения, они его *оподобили*, применили ко множеству частных явлений вновь нарождающимся, к явлениям старым, незамеченным.

IV

Н.Я. Данилевский набросил обертывающий покров на все эти учения; около этой нежной, хрупкой, жизненной сердцевины образовал внешнюю скорлупу — и только. Отсюда отчужденность от него носителей прежнего славянофильства (например, И.С. Аксакова); будет правильнее сказать — выразителей его существенной, жизненной, плодоносной стороны. — Он в самом деле не указал, не объяснил ни одной особенности нашего исторического сложения, собственно к *славянофильству* он ничего не прибавил; его роль была другая, менее значительная, более грубая. В двух словах — это будет понятно.

Существуют *типы* органического сложения; не виды, не роды, не классы, различающиеся органами, но типы, в которых различие гораздо глубже и касается самого *плана*, по которому созданы или произошли организмы. Человек, птица, ящерица, рыба, как они ни разнообразны с виду, одинаково, в сущности, устроены: они имеют ряд органов, симметрично расположенных по правую и левую сторону некоторой идеальной линии, проходящей от передней оконечности организма к задней. Но вот перед вами морская звезда; в ее формах, лучисто идущих от центра, вы не узнаете самого плана, по которому создано тело всех названных выше существ, — для построения этого животного нужен был *второй* план, нужно было *новое* усилие творческой созидательной мысли, между тем как при созидании ящерицы или рыбы новое усилие делала только материя, одевая собою тот же план, по которому устроен и человек. Так же, рассматривая содержимое двустворчатой раковины и припоминая строения вам ранее известных животных, вы произносите невольно: "Это — что-то совершенно другое, это — еще *тип* органических созданий", не выражая этим ничего иного, кроме своего изум-

ления, непонимания, растерянности перед необычным и неожиданным, что вам раскрылось в природе.

И в истории всемирной, если мы всмотримся в нее внимательно, мы увидим нечто аналогичное: есть *группы* народов — не в частях своей жизни, не в некоторых формах деятельности отличающиеся одна от другой, не чем-либо прибавленным, убавленным, переиначенным, как переиначены некоторые функции и органы у млекопитающего и рыбы, — есть народы, есть культуры всемирно-исторические, как бы осуществляющие в своем ходе, в строении *иной план*, чем другие. На ту же нужду они отвечают различно, при встрече с одним предметом испытывают разнородное: Филоктет от боли раны кричит; Иов — тревожится, не согрешил ли он? Аппий Клавдий, похитив Виргинию и обвиненный, разбивает себе голову в темнице; Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом покаяния и скорби. Неудивительно ли: в целой Библии нет ни одного силлогизма, хотя увещание, объяснение, убеждение — обычные случаи, когда мы употребляем "следовательно", — рассеяны в ней едва ли не с первой страницы до последней. Тот же мир вокруг этих людей, но не те же они; гамма их внутренних струн разнородна — иное в них сцепление понятий, иной порядок чувств, содержание понятий. Они лишь внешним образом соотносятся друг с другом — торгуют, воюют, странствуют по лицу земли, но на этой земле осуществляют различное, переживают несходное и вообще мало понимают друг друга или понимают с большим усилием. Таков араб и римлянин, иудей и грек — один с шумливым форумом, великим Капитолием, Афродитою Книдской, другой — с скрижалями завета, без отечества, без границ, со скорбью и сокрушением, которым заразил мир; таков, уже на исходе судеб исторических, славянин, коль он соприкасается с романцем, швабом, англичанином, — многое *от них* усвоивший, перенявший и все-таки не усвоивший *их*, не чувствующий, не понимающий внутренней необходимости их форм созидания; еще менее ими усвоенный в интимном содержании души своей, в складке характера, в неуловимом оттенке смеха, иронии, в молитвах печали, безотчетного разрушения, порывистого творчества. Все это суть люди разных типов психического сложения, и отсюда неодинаково сложение их быта — внутренний план их истории.

То, что Киреевский, Хомяков, К. Аксаков наблюдали как факт, чему они удивлялись, чему не доверяли другие, — есть явление, которому Данилевский дал имя, указал аналогии в природе, нашел место во всемирной истории. Он не открыл новой черты в этом явлении; в пук наблюдений, сделанных первыми славянофилами, не вложил ничего от себя; собственно для славянофильства как учения об особенностях

русского народа и истории он ничего не сделал. Его роль была формально-классификаторская; он сказал: "Группа этих особенностей есть особый культурно-исторический тип, один из нескольких, на которые распадается всемирная история и которые в ней не преемственно продолжают друг друга, но, чередуясь или существуя бок о бок, создают разнородное".

Читатели, теперь столь многочисленные, "России и Европы" легко поймут из этой книги, *почему*, на *основании* каких общих законов истории они не схожи с германцем, французом, римлянином, греком; но *в чем* именно не схожи, *чем* их родина отличается от тех стран в историческом, бытовом, культурном отношении — этого они не узнают отсюда, это могут они узнать только из трудов Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, других меньших первоначальных славянофилов. "*Кто я?*" — "вокруг меня *не то же*, что я" — вот краткие выражения, вот формулы сердцевинной и краевой фаз одной и той же доктрины — ее жизненной плодоносной части и внешней, жесткой, только разграничивающей стороны.

В. Розанов
